Единая теория всего. Том 2. Парадокс Ферми

Автор:
Константин Образцов

Единая теория всего. Том 2. Парадокс Ферми

Константин Образцов

Образцовая фантастика К. Образцова

Ленинград, август 1984 года. Закат великой советской эпохи.

Автор бестселлера «Красные Цепи» предпринимает исследование тайн Мироздания. Великолепный многоплановый роман о человеческом выборе, влияющем на судьбы Земли: то, что начинается как детектив, превращается в научную фантастику, которая достигает степени религиозного мистицизма.

Трагическая смерть одного из авторитетных представителей преступного мира поначалу кажется самоубийством, а жуткие обстоятельства его гибели объясняются приступом внезапного сумасшествия. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше всплывает странностей, парадоксальных загадок и невероятных событий, а повествование постепенно охватывает пространство и время от Большого взрыва до современности…

Константин Образцов

Единая теория всего. Том 2. Парадокс Ферми

Глава 5

2.37 – 3.03

Подошла Наташа, быстро оглянулась по сторонам, наклонилась к нам и громко зашептала:

– Сейчас остановимся на две минуточки, если хотите покурить, пойдемте, я вам дверь открою!

И показала зажатый в ладошке круглый толстый ключ.

– Отлично! – воскликнул Адамов. – Что же мы сидим, давайте быстрее!

Мы вскочили с мест, задевая коленями столик, цепляя скатерть, пошатываясь и хватаясь за спинки сидений.

– Туда, туда! – И Наташа повела нас по проходу между столами в сторону кухни. У нее была сдержанная, экономная походка человека, большую часть времени проводящего в движущемся и раскачивающемся вагоне, при этом спина и плечи держались ровно и прямо, но все, что находилось пониже гибкой и узкой талии, непостижимым образом раскачивалось, подпрыгивало и вращалось так, словно бедра и ягодицы достались Наташе от танцовщицы с бразильского карнавала и жили своей собственной яркой и насыщенной жизнью.

Мы протиснулись через узкий коридорчик, облицованный светлым пластиком, и вышли в железный, грохочущий тамбур. Поезд медленно останавливался; за окном проплывали стальные решетчатые фермы угловатых высоких арок, протянувшихся над сплетающимися рельсами десятков путей, яркие фонари, разноцветные семафоры, крошечные кирпичные будочки, похожие на домик бедного кума Тыквы, рядом с которыми неподвижно стояли люди в спецовках и провожали взглядом состав.

Протяжный лязг долгой судорогой пронесся от локомотива до последнего вагона, и поезд остановился. Наташа вставила ключ в скважину внешней двери, провернула несколько раз и распахнула дверь настежь. В душный сумрак

тесного тамбура влился воздух августовской ночи – прохладный, отдохнувший от дневного жара и здесь, на техническом полустанке, пахнувший маслом, железом и креозотом. Мы с наслаждением закурили, выпустив наружу клубы сизого дыма. Наташа со смущенной улыбкой мыкалась рядом с дверью в тамбур.

– Наташенька, а вы что же? – заметил ее Адамов. – Присоединяйтесь, мы потеснимся, правда?

Через минуту мы уже дымили втроем, переглядываясь и довольно улыбаясь друг другу. Горящие торфяные болота остались далеко позади; небо было залито холодным сиянием железнодорожных прожекторов, сквозь которое пробивались редкие и самые яркие звезды – на этом участке вечной битвы между природой и человеком величие летней ночи уступило позиции грозному индустриальному великолепию.

– Красиво, – сказал я.

– Жаль, что толком не видно звезд, – отозвался Адамов. – В августе и сентябре в наших широтах в ночном небе их тысячи тысяч. Мне однажды в конце сентября довелось побывать на Валааме, там ночью Млечный Путь сияет так, что дыхание перехватывает; Полярная звезда – будто кто-то прожектором светит на Землю, Большая Медведица – как на картинке в учебнике, кажется, можно заметить пунктирные линии, какими обычно соединяются звезды в созвездия на рисунках.

– У нас дома тоже летом небо красивое, – вздохнула Наташа. – И такое огромное, что чувствуешь, как оно землю охватывает.

– А вы откуда, Наташенька? – негромко поинтересовался Адамов.

– Я с Алтая, – печально ответила Наташа.

Мы помолчали немного, а потом я сказал:

– Помню, в детстве я смотрел на звезды и думал, что если вот сейчас прилетят оттуда инопланетяне и предложат улететь с ними, то соглашусь не раздумывая. Даже если никогда не вернусь больше обратно.

– Сколько вам тогда было лет? – спросил Адамов.

– Где-то десять или двенадцать.

– Ну, в двенадцать лет я бы тоже согласился лететь куда угодно.

– А я бы и сейчас не отказалась, – сказала Наташа.

Тревожный рубиновый свет семафора погас, вместо него зажегся дружелюбный зеленый. Поезд вновь содрогнулся протяжно, и Наташа заторопилась:

– Ой, мы поедем уже сейчас, надо двери закрыть!

Мы выбросили сигареты, и она заперла дверь, а потом мы все вместе вернулись в теплый, ярко освещенный вагон-ресторан с таким чувством, как если бы отсутствовали не один год, успев совершить полет к дальним звездам и обратно.

Ресторан почти опустел. От мрачного мужчины за дальним столом и модника в стильном летнем пальто остались только несколько грязных тарелок, бокал и ведерко с растаявшим льдом. За соседним столиком женщина в жемчужных бусах назидательно выговаривала своему визави:

– Согласись, он все это время очень тебя поддерживал: смягчил требования, пошел на снижение критериев качества, да и сам поучаствовал, когда испытания совсем в тупик зашли. Так при чем тут чьи-то интриги? Если ты уверен в продукте, просто докажи это экспериментально, поговори с технологами, может быть, нужно снова катализаторы применить, я не знаю…

Помятый мужчина вздыхал и соглашался.

Мы уселись за столик, Наташа отошла и вернулась с кувшином томатного сока.

– А садитесь с нами? – неожиданно предложил Адамов.

Она испуганно замахала руками:

– Нет, что вы, что вы! Мне же работать надо, я не могу!

– Наташа, какая работа? Три часа ночи и ресторан пустой, – возразил Адамов. – Только мы сидим да вот еще товарищи…

Он перегнулся через проход и строгим голосом осведомился у наших соседей:

– Товарищи, вы ведь не будете возражать, если девушка с нами посидит?

Те покосились, но возражать не стали.

– Ну, а если еще кто-то придет… – попыталась слабо сопротивляться Наташа.

– В три часа ночи? Выгоним! – пообещал Адамов. – Все, дело решенное! Берите себе, что хотите, мы угощаем, и садитесь!

– У нас тут интересно, – добавил я.

Наташа сдалась, принесла себе стаканчик апельсинового сока, куда Адамов тут же плеснул водки, мы сдвинули рюмки и выпили за расширение нашей компании.

– Вам знакомо имя академика Пряныгина? – спросил Адамов. – Нет? Как, и не слышали никогда? Стыдно, молодые люди! Иван Дмитриевич Пряныгин – это же глыба! Матерый человечище! Гениальный математик и физик-теоретик, академик, действительный член Академии наук, автор десятков монографий и бесчисленного множества статей, лауреат Сталинской премии, двух Ленинских премий и множества государственных наград. Человек пестрой и непростой судьбы: родился еще в Российской империи, в Ивангороде, потом вместе с семьей перебрался в город Ямбург – тот, что потом переименовали в Кингисепп. Еще студентом вел переписку с Николой Теслой и Альбертом Эйнштейном, причем уже тогда критиковал последнего за идею космологической постоянной, которую впоследствии сам Эйнштейн назвал своей самой большой ошибкой.

Во время войны ушел в подполье, партизанил, за что потом парадоксальным образом получил десять лет лагерей, но освободился досрочно, был реабилитирован и вернулся к научной деятельности. Ни одно самое громкое,

самое масштабное открытие или научный прорыв в области точных наук за последние пятьдесят лет не обошлись без участия Пряныгина, а сам он настолько обогнал свое время, что постичь суть его собственных изысканий могут разве что десяток-другой человек во всем мире. Человек стальной воли, острого ума, всегда на переднем крае научной мысли, он, в отличие от многих функционеров и администраторов от науки, в любой момент с мелом в руке у доски мог за десять минут поставить на место любого, кто бросит ему вызов, а уж вооруженный логарифмической линейкой в состоянии был разгромить и обратить в бегство десяток профессоров, пусть бы даже за ними стояли самые современные ЭВМ и десятки адъюнктов и аспирантов. Звание «ученик Пряныгина» значило больше, чем любая научная степень, а его самого привлекали как эксперта для решения самых значимых и спорных вопросов современной науки, и если уж Пряныгин одобрял проект, то никто не посмел бы сказать слово против, будь он хоть трижды партиец. Мало этого, Пряныгин прославился еще и как живописец, создающий монументальные и величественные пейзажи северных гор и морей, а также как поэт, укладывающий в стихотворные строфы самые сложные научные выкладки – наверное, потому стихов его никто не может понять, а некоторые не в состоянии и прочесть. Вот он каков, Пряныгин!

Мы с Наташей были под таким впечатлением от этого неожиданного панегирика, что немедленно с чувством выпили за неведомого нам доселе Пряныгина. Адамов тут же освежил содержимое наших рюмок и налил водки в Наташин стакан так щедро, что оранжевый сок побледнел, будто лишившись чувств.

– А он еще жив? – спросил я.

Адамов нахмурился:

– Неизвестно. Если и жив, то ему сейчас должно быть уже больше ста лет. Невероятно, конечно, но в отношении такого человека ни одно предположение не будет достаточно невероятным. Вообще, многое в личности Пряныгина окутано тайной. Например, нет практически ни одной его фотографии: единственный существующий фотопортрет датирован 1958 годом и кочует из книги в книгу и из журнала в журнал. О семье тоже есть только противоречивые и разрозненные слухи: кто-то утверждает, что у него была жена и есть сын, ныне подвизающийся не то на военной, не то на научной стезе и сменивший фамилию, чтобы тень прославленного отца не осеняла его жизненный путь; кто-

то, напротив, уверен, что, кроме родителей, из родственников у Пряныгина была только родная сестра, пропавшая во время гитлеровской оккупации Кингисеппа. Несмотря на масштаб деятельности, образ жизни он вел всегда замкнутый, а к началу девяностых годов и вовсе превратился в анахорета, работая в гатчинском Институте ядерной физики над совершенно секретным проектом, весь масштаб и значимость которого невозможно и осознать.

– Потрясающе, – признал я. – Но к чему вы это все рассказали?

– А к тому, – поднял палец Адамов, – что этот вот человек, который легко мог проигнорировать приглашение на самый значительный международный симпозиум и оставить без всякого ответа письма от маститых профессоров, этот гигант мысли и титан духа переписывался со школьником, тринадцатилетним мальчишкой из Ленинграда, причем едва ли не на равных. И мальчишкой этим был Савва Ильинский.

* * *

Савва Гаврилович Ильинский родился в 1949 году, в городе Северосумске, что в Михайловской области, далеко на Севере, у берегов холодного моря. Мать его, Леокадия Адольфовна Ильинская, была женщиной поистине выдающейся: из рода тех самых промышленников Ильинских, которые являлись одними из первых строителей и основателей города, актриса и даже, как утверждали некоторые – а у нас нет оснований тому не верить! – звезда местного драматического театра. В этом статусе она встретила начало Великой Отечественной войны и ушла добровольцем на фронт. Это само по себе поступок, для женщины – поступок вдвойне, а для двадцатидвухлетней подающей надежды актрисы, которая могла бы преспокойно пережить военное время в родном городе, по-прежнему выходя на сцену и лишь изредка выезжая на спокойные участки фронта в составе агитбригады, – и вовсе подвиг. Но молодая артистка Леокадия выбрала другой путь, который прославил ее в иной, по-настоящему драматической роли – она стала Лидой Ильинской, самой результативной и едва ли не единственной женщиной-снайпером Заполярья, героиней Северного фронта, воевавшей в составе разведроты, десятки раз ходившей за линию фронта вместе с диверсионными группами и уничтожившей в полярных метелях, среди ледяных скал и заснеженных сопок без малого сотню фашистских офицеров и солдат. В родной город она вернулась с Победой, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», осколочным ранением и

званием старшего лейтенанта. Вернулась – и снова поднялась на подмостки местного театра. Никто из тех, кто не знал о фронтовом пути Леокадии Ильинской, не мог бы представить эту молодую женщину утонченной, интеллигентной красоты и большого таланта, блиставшую в образе Ольги из «Чайки» или Вари из «Вишневого сада», лежащей в засаде среди обледеневших камней, или ведущей снайперскую дуэль с егерями из горного корпуса «Норвегия», или вместе с армейской разведкой преодолевающей полярной ночью ограждения из колючей проволоки. В общем, Леокадия Адольфовна Ильинская обладала выдающейся силой духа и мужеством – и, может быть, именно поэтому сына растила одна.

Насколько известно, замужем она никогда не была, и личность некоего Гавриила, единственный след которого в жизни Саввы ограничился отчеством, осталась неизвестной. Сыну Леокадия Адольфовна, как водится, в зависимости от его возраста рассказывала разные истории об отце: в этих рассказах он побывал космонавтом, летчиком-испытателем, геологом, разведчиком-нелегалом, пока подросший сын, все поняв, не перестал ставить маму в неудобное положение расспросами о пропавшем папе.

Ребенком Савва был поздним, желанным и долгожданным, а потому и внимания, и особой, зрелой материнской заботы у него было в избытке, а по тем простым и суровым послевоенным временам, может, и чересчур много. Мать стремилась оградить его от дурных влияний и дурной погоды, болезней, опасностей, травм и мальчишеских бед – это свойственно сильным людям, пережившим страшное и желающим своей детям иной, благополучной судьбы. Вполне предсказуемо, что при такой материнской опеке Савва рос мальчиком тихим, замкнутым, не склонным к шумным играм и шумному обществу своих сверстников, что азартно колотили друг друга палками, вопящей толпой пинали потрепанный мячик на пустырях, строили города из грязи и веток или разыгрывали батальные сцены из недавних военных времен. Зато у него рано открылись способности к точным наукам и шахматам. В богатой домашней библиотеке Ильинских нашлись старые сборники занимательных задачек по физике и математике и большой том с разбором лучших шахматных партий прошлого века, и очень скоро Леокадия Адольфовна с радостным удивлением обнаружила, что ее пятилетний сын легко справляется с математическими загадками, предназначенными для средней школы, а также без труда находит лучший ответ на сицилианскую защиту, оптимальное продолжение дебюта четырех коней или ставит мат королю за нужное количество ходов. Это открытие укрепило Ильинскую в давно напрашивавшемся решении: из города им придется уехать.

Послевоенный Северосумск был городом рабочим, серым, суровым, где в те времена, несмотря на наличие театра, библиотеки, Дома культуры и краеведческого музея, электрическое уличное освещение работало только на одном центральном проспекте, больше половины жителей обходились без водопровода, и, что важно, не было ни одной школы с десятилетним образованием. Представить себе, что сын отучится семь лет вместе с хулиганистыми ребятами из Слободки, а потом за компанию с ними отправится в одно из местных ремесленных училищ, Леокадия Адольфовна не могла. Способности к физике и математике, очевидно, нуждались в развитии в каком-нибудь хорошем специализированном заведении. Нужно было срочно что-то предпринимать.

Ильинская была женщиной высокого чувства собственного достоинства и той особенной, истинно аристократической гордости, которая для своего удовлетворения не требует унижать других, расталкивать локтями очередь, криком требовать привилегий, подличать и врать ради собственной выгоды, а менее всего позволяет просить, что все вместе приводит подчас к отсутствию в жизни того, что обычно зовется успехом. Но сейчас ради сына Леокадия Адольфовна собиралась именно просить, а потому надела боевые награды, собрала необходимые документы, пристроила Савву на несколько дней к своей двоюродной сестре и отправилась плацкартным вагоном в Ленинград.

Первое, что ей требовалось, – это работа. Перевестись из провинциального театра в едва ли не столичный было практически невозможно, но у Леокадии Адольфовны не имелось иной специальности, кроме актерской, если не считать ремеслом умение попасть из винтовки точно под нижний край вражеской каски – за сто пятьдесят метров, зимой, снежной ночью. В крайнем случае она была готова устроиться хоть уборщицей, но обошлось: помогли боевые заслуги, рекомендация из горкома партии, несомненный актерский талант, собственная настойчивость и просто удача, так что в итоге у нее получилось договориться о работе по временному трудовому договору с начала следующего сезона в театре на Владимирском проспекте.

Кроме трудоустройства, нужно было решить вопрос с жильем. Полумеры в виде сомнительного съемного угла не годились: требовалась квартира с ленинградской пропиской, без которой нечего было и думать устроить сына в школу или перейти с временной на постоянную работу в театре. Леокадия Адольфовна затеяла междугородний обмен. Это и без того непростое мероприятие – заранее заказанные звонки между городами из телефонных

будок на местной почте, письма, телеграммы, поездки – затянулось на долгие десять месяцев, потому что в 1956 году желающих переехать из Ленинграда в Северосумск было не больше, чем сегодня. В итоге на прекрасную двухкомнатную квартиру рядом с театром в самом центре города удалось выменять жилище в Озерках, тогда – дальней ленинградской окраине. Там на Поклонной горе еще высилась каменная остроконечная башня бывшей дачи тибетского знахаря Бадмаева; чуть поодаль виднелся лишенный креста пузатый зеленый купол приютившей баптистов Троицкой церкви; в низине под склоном горы лежали тихие пруды и небольшие озера; на узких улочках, среди заросших садов за калитками с непеременной табличкой «Осторожно, злая собака!», прятались деревенские домики, и трамваи разворачивались на кольце, пробираясь между густых кустов черемухи и сирени, деревьев и штакетных заборов. Несколько больших двухэтажных домов, бывших некогда дачами врачей или чиновников средней руки, – трогательный русский модерн начала века, веранды, застекленные двери, мезонины, башенки и балконные ниши ныне были приспособлены под общественное жилье и разделены на три или четыре квартиры. Вот в такой дом и въехала Леокадия Адольфовна с сыном, получив в свое распоряжение большую квадратную комнату на втором этаже, застекленную маленькую веранду, насквозь промерзавшую холодными зимами, и крошечный мезонин, где Савве устроили комнату для занятий. Отопление было печное, воду набирали из колонки на улице, туалет находился на заднем дворе, в баню по субботам ходили за километр и не убирали далеко керосиновые лампы и свечи, не доверяя частенько отключающемуся электричеству. Не лучшие условия для не отличавшегося крепким здоровьем Саввы, но у его мамы была высшая цель, к которой она продолжала идти со свойственным ей упорством.

Целью этой была школа для сына, и не абы какая – что за смысл был бы тогда в переезде? – а лучшая математическая школа в городе при Физико-техническом институте.

Попасть туда, разумеется, было непросто, и вовсе не из-за вступительных испытаний.

Школа считалась элитной – насколько это слово было уместно в середине советских пятидесятых – не только потому, что основные дисциплины там преподавали лучшие учителя города и не из-за углубленного изучения точных наук, но главным образом по причине престижа, дисциплины и контингента. Никакой шпаны там не было и быть не могло; учебные места предполагалось

распределять среди одаренных детей из разных районов города, но, как правило, они разбирались «ответственными работниками» для своих детей, которым математика с физикой были интересны так же, как Савве – биатлон. В результате из двух классов на параллели один формировался исключительно для учеников из семей высокопоставленных служащих, а на каждое место во втором претендовали дети самих педагогов, их родственников, друзей и знакомых, так что математическим дарованиям, даже при условии блестяще пройденных испытаний, без дополнительной весомой поддержки рассчитывать было не на что. Но Леокадия Адольфовна подготовилась к финальному собеседованию с директором школы, и в обмен на сезонный театральный абонемент Савва Гаврилович Ильинский в 1956 году был зачислен в 1 «Б» класс специализированной школы при Физико-техническом институте.

Человек способен свыкнуться с любыми условиями, а привыкнув, и полюбить, какими бы трудными они ни были. Эта высокая адаптивность как важная черта человеческого существа когда-то помогла победить в эволюционной борьбе; не исключено, что она же когда-нибудь поставит крест на человечестве как биологическом виде. Леокадия Адольфовна очень быстро привыкла к суровым условиям быта, тем более что в сравнении с передовыми позициями 14-й армии в Заполярье дом в Озерках был истинным санаторием, а Савва пребывал еще в том возрасте, когда ребенку хорошо везде, где есть мама. Бывшую дачу с ними делили печальные потомки не то фрейлины, не то камергера, сумевшего убежать от революционного шторма и сделавшего это столь стремительно, что впопыхах позабыл здесь половину семейства; жена и две дочери репрессированного врача, занимавшие комнаты на втором этаже по соседству, и вдовая пропитчица шпал Люда Лебедева, которая благодаря дюжим плечам, яркой харизме и отсутствию сопротивления усвоила себе роль неформального лидера, старосты и начальника по режиму. Ее было ввели в заблуждение интеллигентная внешность и артистическая профессия Леокадии Адольфовны, но после разговора по душам где-то на заднем дворе, между дровяником и сортиром, она осознала свою оплошность, заявила, что «мы с Лидкой – свои в доску!», и с энтузиазмом помогала при случае носить ведра с водой или щепить на лучину поленья. Когда через восемь лет Леокадия Адольфовна с Саввой покинули дом в Озерках, суровая пропитчица Люда провожала их, рыдая, будто ребенок.

Это только на первый взгляд кажется, что восемь лет – очень долгий срок. Годы порой летят куда быстрее часов, проведенных в ожидании, или серых унылых дней, особенно если время подчинено устоявшемуся и неизменному распорядку. Только и успеваешь замечать, как меняются времена года.

Все восемь лет каждое утро мама и Савва выходили на трамвайную остановку: в совсем темное еще зимнее время, когда на морозном небе пылают ледяным пламенем яркие звезды, а воздух похож на иссиня-прозрачное замороженное стекло, и так приятно сесть после долгого ожидания в теплый уютный трамвай и долго ехать, прочерчивая варежкой узенькие окошки на заиндевевшем стекле; или нежным и светлым весенним утром, когда поют первые птицы и деревья подернуты легкой дымкой распускающейся зелени; или багряно-рыжей, роскошной золотой осенью, когда дожди и ветер еще не оборвали огненную, тяжелую листву со старых деревьев и Озерки укутаны красным и желтым. Только трамваи менялись – на смену одноглазой «американке» с деревянными лавками пришел сине-желтый «стиляга» с глазами столичной модницы и сиденьями такими мягкими, что мало у кого дома были такие же мягкие диваны и кресла.

В школе, как и следовало ожидать, дела шли отлично. Мама сперва несколько волновалась, что замкнутая натура сына помешает ему в общении с одноклассниками, но тревоги оказались напрасны: Савва прекрасно ладил со всеми, причем не только из своего класса «Б», который сами ученики иронически расшифровывали как «беднота», но из класса «А», где училась или делала вид, что учится, «аристократия» – ладил, но ни с кем не дружил. Если бы потребовалось описать его одним словом, то следовало бы сказать «спокойный»; это не была флегматичность эмоционально бедного человека или патологическое безразличие аутиста, нет. Это было какое-то особое, осознанное спокойствие человека, который чем старше становится, тем больше убеждается в том, что все в мире идет так, как надо: не правильно или хорошо, а именно как надо, как если бы и хорошее, и плохое, и радостное, и страшное, и горькое, и веселое – все было частями единого, слаженного и прекрасно сбалансированного целого, захватывающую природу которого еще только предстояло постичь. В тринадцать лет он увлекся астрономией и астрофизикой, потом, ведомый своим стремлением раскрыть таинственную гармонию мира, занялся космологией и вот именно тогда впервые написал академику Пряныгину, не особенно рассчитывая на ответ. Но ответ вдруг пришел – в конверте со множеством штампов и марок, упал в помятый почтовый ящик на калитке перед старым домом, и началась переписка, продолжавшаяся более двадцати лет. Ночами на узких Озерных и Десятинных улицах слышны были лай

или пьяные крики, где-то играла гармонь, нестройные голоса то тянули тоскливые песни, то срывались в долгую перебранку, а за светящимся окном мезонина школьник Савва Ильинский выводил железным пером строки и формулы в безмолвной беседе с одним из величайших умов современности.

Безусловно, по всем основным предметам он успевал блестяще; преподаватели точных наук при каждом удобном случае восторженно отзывались о нем, предсказывая Леокадии Адольфовне большое научное будущее сына. Но у нее было свое видение судьбы Саввы, и, когда он сообщил о намерении учиться на астрофизика, мама его отговорила. Ну что за профессия такая – астрофизик? Какие у него перспективы – сидеть сиднем на кафедре в институте, преподавать и писать статьи до конца своих дней? И Леокадия Адольфовна настояла на прикладной математике – специальности, как ей справедливо казалось, близкой к инженерному делу, а люди, которые способны создать или изобрести что-то практически ценное, всегда будут нужнее, чем ученые-теоретики.

Вступительные экзамены на факультет прикладной математики были сданы с успехом столь ошеломительным, что принимавший их преподаватель одной из кафедр позвал нескольких своих коллег, чтобы показать им, как фантастически ловко вчерашний школьник берет двойной интеграл по поверхности. Не стоит и говорить, что успехи Саввы в учебе были исключительны, защита диплома стала преддверием кандидатской по теме, связанной с проблематикой векторного поля в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве сигнатур, и диссертация его прогремела событием в ученом мире не только Ленинграда, но и всей страны. Конечно же, Савве настойчиво предлагали остаться в университете для продолжения научной работы, но мнение мамы оказалось весомее доводов профессуры; а может быть, Савва просто знал, как все должно быть и как надо делать, а потому после досрочного окончания аспирантуры он передал свою дальнейшую карьеру на волю судьбы и превратностям распределения молодых специалистов.

К тому времени они с мамой давно переехали в прекрасную квартиру в «сталинском» доме на Приморском проспекте – две просторные комнаты, третий этаж, терраса, окна на Большую Невку и парк, два шага до Аптекарского острова, – которую в театре выбили для Леокадии Адольфовны через исполком. Мама продолжала актерскую службу, сменив роли юных и вздорных прелестниц на образы сильных разочарованных женщин, и по утрам они больше не ездили вместе: Леокадию Адольфовну трамвай увозил через центр на Владимирский проспект, а Савва на чумазом автобусе ехал на Васильевский остров, в НИИ

связи ВМФ – лучшее место для практически ценных и востребованных изобретений.

Впрочем, до них оставалось еще почти десять лет; в 1973 году Савва Гаврилович Ильинский поступил младшим научным сотрудником в расчетный отдел, занимавшийся вычислениями для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ различных отделов и лабораторий, а через семь лет он, сам ни мало к тому не стремясь, возглавил этот отдел, хотя десяток молчаливых инженеров-операторов ЭВМ и одна ассистентка без всякого возглавления знали свое дело. Это была очень хорошая работа: спокойная, размеренная, полностью подчиненная процедурам и, что самое главное, не отнимающая почти никаких интеллектуальных сил, и на долгие годы Савва мог спокойно погрузиться в собственные исследования, которым отдавал большую часть своего времени. Если кратко, то он работал над единой теорией всего.

* * *

3.03 – 3.03

– Какая мама замечательная, – всхлипнула Наташа. – Вот и сын потому такой вырос, успешный и гениальный! Надо же, изобрел теорию всего!

Она шмыгнула носом и с чувством сделала большой глоток водки с соком.

– Наташа, а вы знаете, что это такое? – поинтересовался я.

– Конечно! Это теория…ну, как… в общем…обо всем. – Она порозовела, смутилась и засмеялась: – Я просто не знаю, как объяснить.

– Наташенька, не стесняйтесь, этого никто не знает, – заметил Адамов. – Подозреваю, что и те, кто ею занимаются, тоже. А если пытаются объяснить, то выходит не лучше вашего. Я уже говорил, что в последние годы довольно много читаю и пришел к выводу, что доказательная наука закончилась еще в девятнадцатом веке, а постижимая для обывателя – в прошлом, хотя некоторые достижения и выводы научной мысли века позапрошлого тоже трудно постичь человеку неподготовленному. Взять, к примеру, измерение скорости света. Как эту величину измерил Физо при помощи полупрозрачной пластинки,

водопроводных труб и интерферометра, мне постичь не дано. Кстати, сделал он это в 1851 году, когда среди прочих достижений просвещенного человечества, скажем в Англии, можно отметить сокращение продолжительности детского труда с двенадцати до десяти часов в день и запрет брать на некоторые работы девочек младше шести лет. Но этот опыт хотя бы принципиально понятен при небольших усилиях и познаниях в физике и математике. Но вот в первой четверти двадцатого века рождается теория относительности, а ее понять и объяснить гораздо труднее.

– Я знаю, знаю! – закричала Наташа. – Эйнштейн! Е равно эм цэ квадрат!

– Браво! И что это значит?

– Так, сейчас!

Наташа выхватила из кармана смартфон и принялась тыкать пальчиками в экран.

– Честно говоря, помню только про связь гравитации, пространства и времени, – признался я.

– Что очень неплохо по нынешним весьма скромным меркам, – отозвался Адамов. – Сейчас для того, чтобы прослыть интеллектуалом, довольно не путать Гоголя с Гегелем или хотя бы просто знать, кто это такие. А уж внятно изложить теорию относительности… Но подождем, что Наташа нам скажет.

– Ничего себе, их, оказывается, две, – удивленно сообщила Наташа. – Нам какая нужна?

– Пусть будет специальная.

– Ага! Теория, описывающая универсальные пространственно-релятивистские свойства физических процессов, – прочитала Наташа, растерянно посмотрела на нас и добавила почти с отчаянием: – Иногда используется как эквивалент понятия «релятивистская физика».

– Ну вот, все встало на свои места, не правда ли? – удовлетворенно произнес Адамов. – Если углубиться в обсуждаемый предмет, то математический аппарат, доказательная база и выводы будут уже на грани понимания человека хороших способностей к точным наукам. Но здесь хотя бы есть некое общее согласие научного сообщества, которое мы принимаем как доказательство состоятельности этой теории, слабо понимая ее суть и почти не осознавая области ее практического применения. Но во всем остальном, что составляет известные обществу теоретические выводы передовой науки, мы имеем дело с гипотезами, в той или иной степени принятые большинством ученых, которые в состоянии в них разобраться, популяризированы для широких народных масс и пока не опровергнуты в достаточной степени убедительно тем научным меньшинством, которое этими гипотезами не согласно. Вот, например, претендующая на объяснение происхождения Вселенной пресловутая теория Большого взрыва, к слову сказать, впервые предложенная почти сто лет назад бельгийским аббатом Леметром. Если вдуматься, это же ни в какие ворота! Для начала представьте себе состояние отсутствия пространства, что уже практически невозможно для человеческого разума, который существует исключительно и только в пространственных измерениях. Добавьте к этому отсутствие также и времени. И вот в этом абсолютном нигде и никогда тем не менее находится некая протокапля, размером в миллиардную долю протона, которая вдруг взрывается, расширяясь с умопомрачительной скоростью, порождая и это самое пространство, и все, что есть в нашей Вселенной, менее чем за три минуты. Для таких интеллектуальных эскапад маловато одной математики, нужно иметь еще и фантазию, много превосходящую самое бурное воображение метафизиков и теологов. Вообще, я считаю, что самая богатая фантазия именно у ученых, ибо представить себе отсутствие пространства, частицу с отрицательной массой или хотя бы просто расстояния в миллиарды световых лет куда сложнее, чем единство Троицы или какой-нибудь эгрегор. Про доказательность в доступной для простого человека форме, как вы понимаете, речи и вовсе идти не может. Наука, с юношеским задором высмеявшая седую религию и бесцеремонно отодвинувшая в сторонку философию, самонадеянно взялась объяснить всё Мироздание, но зашла в итоге в такие ментальные дебри, что давно перестала быть сколько-нибудь понятной для обывателя. В науку сейчас можно только верить совершенно так же, как в религиозные догмы. Дело дошло до того, что и сами ученые не всегда могут определить, где заканчиваются приемлемые гипотезы и предсказания, а где начинается откровенный бред. Что уж говорить про обычных людей, которым, по логике вещей, эта наука и должна открывать глаза на суть всего мироустройства. В сторону пыльные тысячелетние манускрипты религиозных томов – мы же не дети и не глупцы, чтобы верить в сказки про старика на облаке! Что, про

старика на облаке ни в одном религиозном тексте не сказано? Все равно прочь! Отойдите и вы, философы, не мешайте своим невразумительным бормотанием про Образ Всеединства и Зов Бытия! Слово науке, вот сейчас всё, наконец, станет ясно! Тишина, публика приготовилась внимать почтительно тайнам. Юная, но вполне уверенная в себе наука выходит под свет софитов и изрекает… Вот, подождите-ка, я выписки себе сделал, для памяти.

Адамов кое-как нацепил очки, полез в боковой карман пиджака, достал потрепанного вида толстую тетрадь в черном переплете, полистал желтоватые исписанные страницы, поднял палец вверх и громко, с выражением прочитал:

– «Гетеротическая струна состоит из замкнутой струны, у которой два типа вибраций, по часовой стрелке и против, которые рассматриваются по-разному. Вибрации по часовой стрелке существуют в десятимерном пространстве. Вибрации против часовой стрелки существуют в 26-мерном пространстве, из которых 16 измерений ком-пак-ти-фи-ци-ро-ваны». Каково?!

– Потише, – попросил я. – Мы людям разговаривать мешаем.

– Или вот, – продолжил Адамов, не обращая на меня внимания, – «две мембраны, которые образуют стены пятого измерения, могли внезапно появиться из небытия, как квантовая флуктуация в еще более отдаленном прошлом, а затем разойтись». И во что, скажите, верить простому, не отягощенному специальными знаниями человеку? В Бога, ментальный конденсат эгрегора или появляющуюся из небытия мембрану в пятом измерении? Ну что ж, вздыхает обыватель, зато не религия, и идет читать гороскоп на неделю, ничем не отличаясь в своих реакциях от, скажем, древнего грека, выслушавшего совершенную белиберду в исполнении жреца Дельфийского оракула.

Наташа засмеялась, очаровательная в своей искренней непосредственности.

– А зачем тогда все это пишут, раз никто все равно не может понять?

Адамов спрятал книжку, снял очки и серьезно взглянул на нее:

– Я тоже когда-то задал себя этот вопрос. Миллионы и миллиарды дотаций, грантов, вложений в невероятные по размерам ускорители элементарных частиц, которых, к слову, никто и никогда не видел и увидеть не сможет

физически, – зачем? Чтобы на выходе получить выкладки про «воображаемое время», «очарованные кварки» или 26-мерную струну? Грешным делом, по приземленной милицейской привычке, подумал даже, что это просто способ деньги отмыть, ну, как одно время принято было отмывать миллионы наркокартелей через покупку за сумасшедшие деньги какой-нибудь аляповатой мазни, которую ангажированные искусствоведы и критики назначали живописным шедевром. Но нет. Дело в том, что, пробираясь сквозь совершенно непроходимые для неподготовленного человека ментальные дебри в погоне за вечно ускользающим многомерным Святым Граалем истины, ученые временами находят и приносят в мир удивительные и практически применимые изобретения – и их внедрение теоретически позволяет окупить сделанные вложения. В шестнадцатом веке королю Рудольфу Второму, который покровительствовал оккультистам и алхимикам, возможность пополнить казну при помощи производства золота из глиняных черепков и помета или обрести эликсир бессмертия уж точно была важнее, чем духовные изыскания внутренней алхимии и рассуждения о трансмутации человеческой природы.

Вот вы спросили, что такое единая теория всего. Формально и очень упрощенно – это непротиворечивое объединение теории относительности и квантовой теории. Такое объяснение, очевидно, дела не проясняет, так, ярлык, который можно навестить на явление, прочесть его и успокоиться. Но если попытаться определить суть и значение, как я их понимаю, то единая теория всего – это философский камень современной науки, попытка полностью и исчерпывающе объяснить Мироздание, а значит, получить возможность предсказывать любое событие с абсолютной точностью и, более того, влиять на материальный мир на уровне его основных, глубинных механизмов, а то и не только материальный. Это как поймать Бога за бороду и потряхивать периодически, выпрашивая подарки и преференции. Пьер Лаплас еще в начале девятнадцатого века предложил, как принято у ученых, некий теоретический мысленный эксперимент. Согласно ему, для существа, которому в любой момент времени известны все силы, приводящие природу в движение, и положение всех частиц, из которых она состоит – а это и есть цель совмещения релятивистской и квантовой физики, – так вот, для такого существа не было бы ничего неясного, будущее выглядело в его глазах так же, как и прошлое, любые пространственные измерения перестали бы иметь значение, а время замерло в одной точке. Забавно, что называется такое существо «демон Лапласа».

– Демон Лапласа, – отозвался кто-то эхом из-за соседнего столика.

Наступило молчание. Адамов, погрузившись в раздумья, сидел, покачивая головой, в такт мыслям и стуку колес.

– Какая мама у Саввы замечательная! – всхлипнула Наташа и сделала большой глоток водки с соком. – Вот и сын потому такой вырос, успешный и гениальный! Надо же, изобрел единую теорию всего!

Мы молча переглянулись. За окном проносилась однообразная мятущаяся темнота и острые зазубренные силуэты черных гигантских елей мелькали на фоне ночного неба как пики бесконечного цикличного графика. Монотонно и глухо колотили колеса, повторяя однажды заданный ритм. Было светло и тихо. Адамов задумчиво покрутил в пальцах ножку водочной рюмки, хотел что-то сказать, осекся, подумал еще немного и ответил:

– Ну, вообще-то я до сих пор не уверен, что Ильинскому это удалось. Но некоторые следствия из его теоретических изысканий получили интересное практическое применение.

Глава 6

Универсальная бинарная волна

Западная оконечность Васильевского острова была не похожа на другие окраины Ленинграда: ни кое-как застроенных многоэтажками диких, изрытых бульдозерами пустырей, ни деревенских домиков в заросших палисадниках за покосившимися заборами, ни продуваемых всеми ветрами тоскливых железнодорожных платформ. Да и что за окраина такая, если всего в нескольких километрах восточнее – дома позапрошлого века, городской центр, изрытый проходными дворами, институты, старинные храмы, учреждения, магазины, а еще чуть подальше – Университет, здание Биржи, стрелка Васильевского, ростральные колонны и Дворцовый мост. Тем удивительнее было выходить из новой станции метрополитена «Приморская» и чувствовать, словно попал на край света: широкий пустынный простор, дыхание моря и совсем близко сквозь серую дымку виден Финский залив, к которому спускается длинный пологий берег, растворяясь в холодных свинцовых волнах.

Чуть левее метро среди старых деревьев и густого кустарника вилась речка Смоленка, по обыкновению всех ленинградских речушек изгибавшаяся и распадавшаяся на узкие, похожие на ручьи рукава, перед тем как влиться в залив. Впрочем, чуть дальше, за Наличной улицей, эти вольности природы были обузданы жестким камнем совсем новых набережных, и стиснутая ими река текла до залива по геометрически четкой прямой, как новобранец, расставшийся с длинными кудрями, гитарой и клёшем и затянутый до потери дыхания в солдатскую форму с иголочки. Но до Наличной берега островков, разделенных протоками такими узкими, что кусты на одном берегу сцеплялись ветвями с кронами своих визави на другом, оставались нетронутыми, поросшими ивами, а местами вдоль них сохранились остовы старинных лодочных пристаней, обломками почерневших досок торчавшие из подернутой ряской тихой бурой воды.

На одном из таких островков располагался НИИ связи Военно-Морского Флота.

То ли место влияло, то ли так задумано было странным гением неведомого архитектора, но воспринималось здание необычно: сначала на просторную площадку у входа выступал из зарослей низкий серый фасад без окон и пологие, широкие ступени, ведущие к двойной тяжелой двери под массивным бетонным навесом, так что с первого взгляда строение напоминало огромный противоатомный бункер. На несколько шагов ближе – и вдруг становился заметен неправдоподобно огромный, грязно-белый, иссеченный дождем и ветрами шар антенного поля, похожий на декорацию к научно-фантастическому фильму, еще ближе – и вот уже выступает из туманного небытия серый монолит двенадцатиэтажной плиты с безликими окнами, теряющийся в небесной дымке. Шаг, другой, третий назад – и исчезнет сначала высокий корпус главного здания, потом белый шар, а потом и фасад скроется за деревьями, вопреки всяким законам физики, вероятности и перспективы.

Если подняться вверх по ступеням, потянуть на себя отворяющиеся с натугой массивные высокие двери, пройти скучный изжелта-серый коротенький вестибюль с выцветшими машинописными приказами и блеклыми плакатами на информационных досках, миновать пост охраны с двумя бдительными дежурными в форме, подняться еще по одной лестнице и пройти длинным, очень длинным сумрачным коридором с истертым линолеумом и казенными голубоватыми стенами, а потом, в самом конце, у пыльного зарешеченного окна толкнуть дверь налево, то можно попасть в расчетный отдел – небольшой кабинет при огромном машинном зале, заставленном десятками напряженно

работающих ЭВМ ЕС 10/33 колоссальной вычислительной мощи, вряд ли в совокупности превосходящей возможности процессоров современных смартфонов. Здесь, среди неспешно вращающихся катушек широкой магнитной ленты, мигающих датчиков, черно-зеленых экранов и километров сложенной гармошкой перфорированной бумаги, за невзрачным столом в углу кабинета, располагалось рабочее место Саввы Ильинского: начальника отдела, кандидата наук, старшего научного сотрудника, одного из немногих гражданских специалистов НИИ.

* * *

С Женей Гуревичем они познакомились осенью 1981 года. Ну, как познакомились: разумеется, им приходилось встречаться и раньше, перебрасываться парой слов по работе, здороваться в коридорах, но до какого-то другого общения дело не доходило. В тот день Гуревич с утра прибежал к Савве в отдел с материалами для расчета. Тот принял утвержденную заявку, толстую пачку перфокарт, сопроводительные таблицы, просмотрел бегло, сделал пометку в журнале и сообщил:

– Завтра во второй половине дня будет готово.

Но вышло так, что сроки по проекту, к которому должны были прилагаться результаты расчетов, не просто сгорели, а уже и обуглились: через два дня был назначен ученый совет в присутствии самого начальника института контр-адмирала Чепцова, где Гуревичу предстояло делать доклад, и он взмолился:

– Савва, старичок, а нельзя как-то раньше?

Ильинский покачал головой:

– Слишком много разрозненных данных для определения зависимости переменных, вычислительного ресурса не хватит, машина быстрее просто не справится. Да и очередь у нас.

Гуревич чуть не взвыл:

– Дружище, у меня край, без ножа режешь! Неужели нельзя как-то, ну хоть примерно, а?

«Хоть как-то» и «примерно» Савва никогда и ничего не делал, да и не собирался. Но тут покосился на всклокоченного Гуревича, подумал немного и предложил:

– Зайди часа через три, а лучше после обеда. Я посмотрю, что можно сделать.

Гуревич умчался, разрываясь между отчаянием и надеждой. А когда вернулся, то Савва вручил ему краткий, емкий расчет зависимых переменных с прогнозом. Гуревич глазам своим не поверил:

– Но как?!

Савва пожал плечами:

– Как обычно, через полиномиальную регрессию.

– Вот я и спрашиваю, как?!

– У машины много времени занял бы выбор правильной матрицы. Я попробовал найти сам. Ну и вот, получилось взять верную регрессию с первого раза.

– Как?!

– Просто увидел.

Это было похоже на чудо, но Женя Гуревич был человеком разумным и в чудеса не верил. Зато сразу сообразил, что перед ним гений, а гениями не разбрасываются.

– Савва, большое тебе человеческое! С меня причитается. Что пьешь?

– «Байкал».

– Ладно, давай хотя бы пообедать сегодня вместе сходим, договорились?

Савва согласился. Так у него появился первый в жизни друг.

* * *

Гуревич был на два года младше Саввы, работал старшим научным сотрудником в одной из лабораторий отдела, занимавшегося системами РЭБ, и во многом являлся полной противоположностью своего нового друга. Савва был среднего роста, одевался как человек, которому довольно того, чтобы выглядеть порядочно и опрятно; черты лица его, присмотревшись, можно было бы назвать правильными, даже аристократичными, но вел он себя так, что никому и в голову не пришло бы присматриваться, и обыкновенно больше молчал, погруженный в собственные размышления. Не то дело Гуревич: высокий, атлетичный, длинноногий красавец, всегда броско, но со вкусом одетый, ироничный красноречивый умница и прекрасный разносторонний спортсмен – мастер спорта по шахматам и по плаванию. Кроме этого, он обладал выдающимся даром налаживать отношения, устанавливать связи, вызывать симпатию, входить в доверие, быть убедительным и вообще нравиться людям, что вместе взятое, как хорошо известно, является важнейшими умениями для каждого человека, который хочет преуспеть в жизни, равно как и напротив: отсутствие этих качеств способно погубить самый яркий талант, сколько бы он ни пытался сам пробивать себе дорогу через равнодушие и неприязнь окружающих. Для большинства подчас хватает одних только способностей к коммуникации, чтобы неплохо устроиться, но Гуревич, ко всему прочему, был действительно выдающимся инженером, имел больше двухсот авторских свидетельств и по праву претендовал на должность заведующего лабораторией – для начала. Его вели вперед амбициозность, личное обаяние, находчивость и дипломатическое искусство игры по принятым правилам: при всем своем внутреннем диссидентском нигилизме и интеллигентской насмешливости над идеологическими установками Гуревич был не превзойден в жанре выступления на партсобраниях, демонстрируя политическую подкованность и безупречную идейную грамотность. Савва же к общественному признанию не стремился вовсе, а на собраниях не выступал и не присутствовал по той причине, что был беспартийным; это, с одной стороны, полностью исключало возможности для серьезной карьеры, но с другой – избавляло от множества хлопот и участия в подковерной борьбе, неразрывно связанной с реализацией карьерных амбиций.

Вся семья Саввы, как известно, состояла из двух человек: он и мама. Семейство Гуревича было обширным и шумным и состояло сплошь из людей, кое-чего

добившихся в жизни: отец – ученый, профессор, начальник кафедры металлургии в Горном институте; старший брат – физик-ядерщик, работающий в Новосибирской академии наук; из двух младших сестер одна – переводчик, замужем за дипломатом, укатившая вместе с ним не то в Африку, не то еще дальше, вторая сестра – искусствовед, а ее муж – подающий надежды молодой врач, проходящий интернатуру в хирургическом отделении Первого медицинского института. Все они: папа, сестра с мужем и пятилетним сыном, сам Женя – жили в «сталинском» доме на Московском проспекте, в огромной четырехкомнатной квартире, где безраздельно царила громогласная мама Циля, перед которой робели и тушевались и профессор, и наезжавший в гости домой доктор наук, и кандидат, и уж тем более приблудный интерн. Кроме этих членов семьи из ближнего круга, у Гуревичей едва ли не еженедельно гостили какие-то родственники, многие из которых словно материализовывались из небытия: троюродные, неведомые раньше племянники из Бобруйска, давно казавшаяся потерянной четвероюродная многодетная сестра из Харькова, еще какая-нибудь седьмая вода на киселе из-за Урала – все звонили, радостным криком пробиваясь сквозь скверную связь дальних междугородних линий, потом приезжали, таща за собой чемоданы, сумки, узлы и сопливых детей, и непременно получали стол и кров в этом шумном, гостеприимном доме.

Когда Савва впервые пришел к Гуревичам в гости, то прямо с порога на все пять его чувств обрушился ошеломляющий вихрь: густой дух тушеных голубцов и кипящего масла, в котором жарились пирожки с печенкой, запахи кипяченого белья, крахмала, какой-то детской мази от диатеза; надсаживающиеся звуки радио и басовое бормотание включенного на полную громкость телевизора, стремящиеся перекричать друг друга голоса, ведущие не то перекличку, не то перепалку через всю квартиру из кухни до дальней комнаты, и настойчиво дребезжащий длинными трелями телефонный звонок; разноцветные африканские маски на стене в коридоре, треск вьетнамских бамбуковых занавесок, невообразимо яркий халат мамы Цили, объятья, рукопожатия и чувствительный удар в голень бампером большой красной пожарной машины, которую с громом и дребезгом катал по паркетному полу маленький Вениамин. В тот первый день Савва чуть сознания не лишился от непривычного обилия впечатлений, гомона, разговоров, эмоций, а главным образом, от угощения столь изобильного, что после него трудно было не только что встать из-за стола, но и просто дышать.

Но при всей разности Савву и его друга кое-что объединяло. Например, оба были холостяками, хотя и по разным причинам.

Холостяк Гуревич искренне, можно сказать, самозабвенно любил женщин, и они с энтузиазмом отвечали ему взаимностью. Незамужняя – да и замужняя тоже, что уж таить грехи, – прекрасная половина коллектива НИИ видела его в томных мечтаниях, которые порой воплощались в жизнь, пусть даже и ненадолго. Гуревичу хотелось дарить женщинам восхитительные истории любви, а не унижать их таинственного очарования пошлостью совместного быта. Все прекрасно знали и понимали, что в финале этих историй не маячит белое платье и не звучит марш Мендельсона, но все равно сдавались перед неотразимым мужским обаянием, отчасти сознательно поддаваясь манящему искушению, а отчасти желая попытать силы там, где потерпели фиаско многочисленные конкурентки, – так альпинист решается на почти безнадежное восхождение по неприступному склону, сплошь усеянному телами несчастливых предшественников. Но вершина не покорялась. Гуревич считал, что вставать из-за стола нужно с чувством легкого голода, а заканчивать отношения – с ощущением такого же легкого сожаления, сохраняя в памяти прекрасные мгновения близости, а не упреки и брань запоздалого расставания. Мама Циля не слишком печалилась холостяцким статусом своего младшего сына: старший, Владимир, и две дочери уже обеспечили ей в совокупности пятерых внуков, чего было вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя состоявшейся бабушкой.

А вот мама Леокадия внуков дождаться почти не надеялась.

* * *

И это ее, безусловно, заботило.

Савва своим одиночеством был доволен и озабоченности по этому поводу не проявлял. Нет, он не избегал женщин, не пугался их общества, не стеснялся и не терял в их присутствии дара речи – просто, казалось, не интересовался интимными отношениями, вот и все. Мама предпринимала меры: периодически приглашала домой своих театральных знакомых вместе с дочерями на выданье, устраивала посиделки: зимой – в их уютной гостиной, летом – на полукруглой террасе с видом на речку и парк, знакомила с Саввой. Он всегда бывал безукоризненно вежлив, внимателен, при всем своем немногословии охотно общался на разные темы, вообще был безупречен в роли сына хозяйки, принимавшей гостей, но и только. Когда все расходились и Савва помогал маме убирать со стола, Леокадия Адольфовна обычно замечала что-нибудь вроде:

– Какая милая эта Лидочка! Умненькая такая, учится в Педагогическом, и красавица, правда?

Савва соглашался – да, милая, что уж тут спорить.

– Ты знаешь, – понижала Леокадия Адольфовна голос до заговорщического, – мне кажется, ты ей понравился. Я заметила, как она на тебя смотрела. Вот, кстати, у меня номер телефона записан. Может быть, позвонишь ей, куда-нибудь сходите?

Сын аккуратно переписывал номер, но никогда не звонил: ни Лидочке из Педагогического, ни Анечке из Технологического, ни даже Агате из Театрального, которая, если верить маме, чуть ли не умоляла ее устроить свидание с Саввой.

Со временем Леокадия Адольфовна, казалось, смирилась с судьбой, но тут вдруг надежда пришла, откуда не ждали.

В Савву влюбилась без памяти его сотрудница – ассистент вычислительного отдела Галя.

Галя Скобейда была тихой и скромной, небольшого росточка, с округлой уютной фигуркой, густыми темными волосами, остриженными в скобку до плеч, и большими карими глазами с поволокой, добрыми и беззащитными. Она тоже окончила – с красным, между прочим, дипломом! – факультет прикладной математики и влюбилась в Ильинского так, как студентка – в гениального педагога, весь масштаб феноменальной личности которого виден только ее влюбленному взору, но скрыт от неблагодарного и равнодушного мира. Савва ее очень ценил, советовался иногда по каким-то незначительным поводам, а его сдержанность и полное отсутствие каких бы то ни было знаков внимания только подливали масла в скрытый пламень бушующей Галиной страсти, способов проявить которую, учитывая личность ее объекта, было не так уж и много.

Савва, как правило, не выходил в перерыв на обед, а предпочитал перекусывать за рабочим столом в кабинете, не отрываясь от дел. Зоркая Галя это взяла на заметку, и скоро вместо самостоятельно изготовленных бутербродов чуть ли не ежедневно на столе у него оказывались изумительные домашние вареники с вишней, или драники с грибами и жареным луком, или котлеты, или совершенно

невероятные пирожки – особенно пирожки, попробовав которые сам Гуревич, забежавший, по обыкновению, сыграть партию в шахматы, стал активно проповедовать Савве семейные ценности:

– Женись! И не раздумывай! Женщина, которая так готовит, – богиня, и эта богиня в тебя влюблена! Да я за такие пирожки сам бы на ней женился, хоть завтра, но, увы, тут у меня нет ни одного шанса из тысячи. А ты не теряйся! Умничка, математик, пятерка по домоводству – чего тебе еще требуется, хороняка! А то, что ножки у нее волосатые, так это даже пикантно как-то!

Савва только щурился и улыбался молча.

Однажды он не справился сам с очередной порцией пирожков и принес остатки домой. Бдительная мама быстро сообразила, что и к чему, задала несколько вопросов, расхвалила пирожки так, как будто ничего вкуснее в жизни не пробовала, и предложила:

– Сынок, а не пригласить ли эту девочку к нам в гости? А то неудобно как-то, она тебя угощает все время, надо же как-то отблагодарить.

Савва и тут согласился, и согласием своим хотя бы на один вечер сделал двух женщин почти совершенно счастливыми. Галя поначалу страшно стеснялась и чувствовала себя очень скованно – и от самой ситуации, и от нового, первый раз надетого нарядного платья, – но Леокадия Адольфовна приняла ее как нельзя более радушно, осыпала благодарностями и комплиментами, а потом почти незаметно, с аккуратной точностью снайпера разведроты, так поставила разговор, что Галя без всяких расспросов сама рассказала ей все, что хотела бы узнать мать взрослого сына о потенциальной невестке: про маму, работавшую медсестрой в родном Мариуполе, про соседок по общежитию, про учебу в университете, про занятия альпинизмом, с особой гордостью – про золотой значок ГТО, и чем больше Галя рассказывала, тем более Леокадия Адольфовна убеждалась, что никакие Лидочки и Агаты этой девушке и близко не ровня. Расстались они совершенно довольные друг другом, но многообещающее начало так и не получило никакого продолжения со стороны Саввы. Он все так же продолжал с удовольствием поедать домашние вареники с пирожками, Галя временами наведывалась к Леокадии Адольфовне в гости, та принимала ее с грустным сочувствием и уговаривала потерпеть – и Галя терпела, имея все шансы, как это нередко случается в жизни, в одиночестве пронести свою преданную влюбленность через долгие десятилетия.

* * *

Кроме холостяцкого образа жизни, двух друзей объединяли и некоторые общие интересы. Первым были, конечно же, шахматы.

Гуревич шахматами занимался серьезно и долго, учился в спортивной школе, дважды был чемпионом Ленинграда среди юниоров, честно заслужил звание мастера спорта и брал уроки игры у самого Ботвинника, который водил знакомство с его отцом. Савва же был самоучкой, толком не сыгравшим ни одной партии с настоящими мастерами, если не считать тех большей частью пожилых любителей, которые собирались на лавочках по выходным в парке Сосновка. Тем обиднее было, что за все время Гуревичу так и не удалось обыграть Савву ни разу. Больше того, с некоторых пор Ильинский взял моду периодически задумчиво объявлять: «Мат через семь ходов», и ошибался при этом чертовски редко. Гуревич по-спортивному злился, сидел вечерами, перечитывая классические учебники и разбирая лучшие партии гроссмейстеров всех времен, но выиграть у друга так и не мог.

Вторая сфера их общего интереса была из тех, о которой не вдруг заговоришь и с хорошим знакомым. Странно, что на эту тему серьезно дискутируют ученые с мировым именем, правительства и частные организации по всему миру выделяют колоссальные суммы на исследовательские работы, люди попроще, не озабоченные поддержанием имиджа интеллектуалов, с удовольствием обсуждают за кружкой или за рюмкой невероятные слухи и шокирующие факты из той же области, а вот средний класс инженерно-технической интеллигенции обыкновенно стыдится всерьез разговаривать про инопланетные цивилизации: помилуйте, ну мы же серьезные люди, какие еще инопланетяне? В среде кухонных умников со средним достатком рассуждать об этом так же нелепо, как про вампиров и оборотней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/konstantin-obrazcov/edinaya-teoriya-vsego-tom-2-paradoks-fermi

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити